

1.

Налёт—это внезапное нападение на заранее выбранный и тщательно разведанный объект. Третье слово этой прописки: «внезапное»—абсолютно зависит от трёх предпоследних слов «выбранный и тщательно разведанный». Высокие кокарды эту зависимость в упор видеть не желали. Их свойство тупеть вместе с набираемой высотой подкреплялось словами нашего министра обороны о противнике как о мужиках в штанах с мотней у колен, что должно было обозначить, будто противник разбежится сразу же, лишь стоит кому-то из высоких кокард громко, прошу прощения, пустить в дело нижнее дыхание. Костя Кравец изобрёл формулу: «Начальство нижним дыханием громко даст вводную, остальные долго тужатся». Конечно, в моей передаче формула не прозвучала, потому что формула хороша простой и доходчивостью. Если «Пифагоровы штаны на все стороны равны!» звучит, то лишь потому, что сказано просто и доходчиво. И Костя сказал просто. Он сказал: «Начальство громко пёрнет, остальным долго тужиться».

Шёл четвёртый год войны. Для меня—первый и даже первый месяц, но вообще шёл уже четвёртый год войны. К нам в Руху прилетел замначразведки армии, поставил задачу:

— Задача: срочно выложить макет Безгаранского и Хисаракского ущелий. Прилетит...!—и замнач назвал такую высокую кокарду, что нам пришлось тужиться уже только при её упоминании.

Кокарда прилетела, ткнула пальцем в середину макета:

— Вот тут базовые районы Ахмад-Шаха-Масуда! Взять самого или кого-то из приближённых!

Потом замнач сказал:

— Сначала сюда выбрасываем триста сорок пятый воздушно-десантный полк. Он там дня три-четыре поизображает армейскую операцию. Потом придут вертушки под видом что-нибудь у них забрать. С этими вертушками прибудете вы и скрытно высадитесь, ночью выйдете вот к этому кишлаку. По разведанным, там в это время будет сам Ахмад-Шах. Ваша задача—захватить его самого или на крайний случай кого-нибудь из ближнего окружения.

На второй день этой армейской операции полк был так зажат, что ему был приказ срочно эвакуироваться. Нас выбросили. Мы остались.

2.

Лето даже по здешним уральским меркам на редкость не удалось. Дождь полоскал землю от июня и до сентября ровно день в день. С первым днём осени лето опомнилось, взялось за своё—да так взялось, что даже ночью стало душно и стало невозможно уснуть. Стало немного грустно—каждый день и с самого утра. Когда хлестало каждый день, никакой грусти не было. Сначала было раздражение, а потом пришло удивление—надо же, как, оказывается, бывает! А теперь, лишь стало возможным выходить из дома без плащ-палатки, к хорошему настроению прибилась какая-то грусть, будто с дождём всё главное в жизни прошло.

Начальник строевой части Настя получила старшего лейтенанта. Мой тёзка комбриг Володя собрал нас в отдельной комнате—столовой, прозванной греческим залом, обмыть новую звёздочку. Известно, мероприятие без замполита—банальная пьянка, а пьянка с замполитом—высокое идейное мероприятие. И я, замкомбриг по воспитательной работе, то есть, по-старому, замполит, подняв рюмку, сказал на ходу придуманную сентенцию о взаимосвязи расстояния и дружбы.

— Есть расстояние, и есть дружба!—сказал я.— Если первое подлинно, то второе не дружба. Если подлинно второе, то первое не расстояние. Потому—за подлинность второго, при котором не подлинно первое!

Вот как сказал я.

— Ну куда мы без замполита!—сказал комбриг Володя.

— Кому с бабами везёт, прошу прощения, Настя, а нам—с замполитом!—сказал замповэдэпэ, то есть заместитель комбрига по воздушно-десантной подготовке, Костя Рогов.

— За третью звёздочку, что ли?—будто ничего не понял зампотыл Валя Молчанов.

— Но так можно сказать и про любовь!—сказала Настя.

— На то и замполит!—сказал комбриг Володя.

— А куда и без замполтыла!—сказал Валя Молчанов и полез за второй бутылкой.

— Замполит важнее!—сказал Костя Рогов.

— А второй после замполита—зампотыл!—сказал Валя Молчанов.

— Тогда третий—начальник строевой части!—сказала Настя.

— А четвёртый—слесарь-сантехник Петрович!—сказал Костя Рогов.

И так досчитались, что так вышло, что комбриг Володя оказывался ниже и ненужнее всех в бригаде.

— Нет, не всех!—сказал он.—Ниже меня начальника штаба. Он самый вредный и самый ненужный человек!

Начальник штаба Вася Барибан был в отпуске. Шутить по его поводу было можно.

— Куда уж вреднее. Он сейчас в третий раз на дню свежий борщ ест. А мы тут ворованную у срочного состава прошлогоднюю кочерыжку на всех делим!—сказал я.

— И этого бы не было, если бы я завстоловой Михаловну раком не поставил!—сказал Валя Молчанов.

— Товарищи офицеры! При даме!—сказал комбриг Володя.

— А это нас так замполит воспитывает!—сказал Валя Молчанов и вытянулся перед Настей:—Товарищ старший лейтенант, прошу извинить за отношение к вам, не предусмотренное уставом!

— Это за какое же?—спросил Костя Рогов.

— Неужели?—наигранно и с намёком спросил комбриг Володя и столь же наигранно посмотрел на меня:—А что на это скажет воспитательная работа?

— Он же сказал про расстояние. А зампотыл и начстройчасть расстояние преодолели, как и положено всё преодолевать хорошему служащему нашего ведомства!—сказал Костя Рогов.

— Да ну вас!—рассердилась Настя.

Вся бригада знала, что Настя была влюблена в меня. Я знал, что бригада знала, но до прошлого восьмого марта не знал, действительно ли Настя была в меня влюблена. За месяц до того мы с ней были вызваны в штаб округа. Бензина в бригаде не было даже для хлебозовки. Мы поехали рейсовым автобусом и все два с лишним часа дороги промолчали. А на восьмое марта Настя вдруг прочитала стихи—если я правильно запомнил, в них была вот такая строчка: «Век бы ехать так. И молчать».

Я вспомнил наш автобус и всё понял. А про Васю Барибана мы шутили по поводу и без повода, потому что Вася Барибан отличался особенностью требовать от жены три раза в день свежий борщ. Мы щёлкали клювами, ходили из отдела в отдел в надежде разжиться корочкой к кипяточку, а Вася в это время обжигался свежим густым борщом и потом на вопрос, как же жена успевает этот борщ

три раза на дню готовить, отвечал, что жениться надо было не по любви, а на хохлушке.

3.

В Безгаране мы остались одни, и нас обложили на высоте четыре сто двенадцать. Хотя, нет, обложили нас там не сразу. Полк ушёл, а мы потихоньку вошли в пустой кишлак. Ущелье из него просматривалось не очень. Командир роты Юра Катаев мне поставил задачу влезть на высотку над кишлаком, ни во что не ввязываться и только наблюдать за ущельем. Мы поднялись—а нас сразу стали утюжить из дэшэка, крупнокалиберного пулемёта Дегтярёва-Шпагина. Юра мне дал команду вниз. А это, простите, под пулемётом прогулочка ещё та. И только мы вывернулись, спустились к кишлаку без потерь, как нас стали доставать снайперы. Остаться в кишлаке не было смысла. Задача сорвалась. Мы запросили Руху. Нам разрешили кишлак оставить, но задачу продолжать. Мы обложились дымами и пошли, совершенно неожиданно догнав уходящий полк. — А что сразу с нами не пошли?—спросил командир полка.

— Оставались по задаче,—сказал Юра.

— Да какая же задача! Это же Ахмад-Шах! Вы ещё макет строгали, а он уже знал, когда и где вы будете!—сказал командир полка.

— Вы нашумели, а нам досталось!—сказал Юра.

— Ну пойдём вместе!—сказал командир полка.

— Нам задачу не отменили!—сказал Юра.

Мы тихомолком от полка отстали и пошли на эту высоту четыре сто двенадцать.

— Вы где, мотопехота?—забеспокоился и стал нас искать командир полка.

— Да уши мы от вас!—сказал Юра.

— Как? Когда? Почему мы не видели?—удивился командир полка.

— Как же не видели? Мы с вами поговорили и уши,—сказал Юра.

— Да брешешь, капитан! Я же вас в поле зрения всё время держал!—не поверил командир полка, а потом поощрительно сматерился:—Ну мотопехота! Ну ухаи! Ну удачи вам!

К пяти утра мы влезли на вершину. Рассвело, и нам всё стало видно—и кишлачную зону, и погрузку полка десантуры на вертушки, и, кажется, даже Пакистан с Китаем стало видно. Кишлачная зона раскинулась прямо под нами, но далеко внизу. День мы наблюдали за ней, а вечером решили спуститься к ближайшему кишлаку. Но ведь был в ущелье и ходил-гремел полк, изображая армейскую операцию. И Ахмад-Шах был не голова, а целый их курултай, или как у них съезд Советов называется. Был Ахмад-Шах целая джирга. Он же сразу просёк—если войск нагнали, пошумели и пошли смываться, то под шумок обязательно кого-то, типа нашего брата, оставили. А раз

так — незачем за войсками гоняться, надо этих братков искать. Юра ещё на задаче сказал, что у нас ничего не выйдет при такой, как теперь молодёжь выражается, постанове. Так и вышло. Нас снова нащупали, и при стычке у Олега Кильчевского во второй группе двоих ранило. Мы стали его прикрывать. Он стал уходить к месту, где бы раненых забрала вертушка. Чтобы сбить духом с толку, Юра сказал ему уходить не сразу вниз, а сперва на хребет, а потом уж вниз. Это было правильно. Духи не пропетрили. Олег оторвался. Но задачу мы опять не выполнили. И кто же таких, как мы, чмырей любит, если система «Я начальник — ты дурак!» или формула Кости Кравца про начальническое очищение желудочно-кишечного тракта посредством нижнего дыхания работает не хуже перпетуум-мобиле. Тот же замначразведки с напутствиями на благословенном командирском матерном отправил нас в Хисаракское ущелье. Вот тогда мы вышли на высоту четыре сто двенадцать.

И там нас обложили. Ведь шёл четвёртый год войны. По меркам Великой Отечественной, это был бы уже канун сорок пятого года, когда воевать научились даже высокие кокарды. Тут же не срабатывала даже аксиома, что армия всегда готовится к прошлой войне, то есть планирует будущие военные действия по прошлому опыту. Наши кокарды, выходило, ни к чему не готовились. Военная доктрина про штаны с мотней на коленях завязала им этой самой мотней глаза.

А нет, я опять забежал вперёд. Мы опять напоролись. Мы открыли огонь первыми, положили девять духов и взяли одного в охапку. Тут нам повезло. Тут просто выпал нам пёр! Мы схاپали натовского инструктора, который сразу просёк, к кому попал, и сказал, что он близкий человек Ахмад-Шаха. Мы сразу доложили на базу. Нам приказали ждать вертушку за этим подручным, а потом уходить — задачу мы выполнили. Вертушка с подручным ушла уже под огнём, а нас, как цуциков, загнали на высоту четыре сто двенадцать.

4.

Дверь, конечно, открыла жена. Я сразу всё понял. Она по моим глазам поняла, что я понял. Она меня поцеловала, как это мы делали, несмотря на некоторость последнего времени, и подала телеграмму. Я ждал этого с весны. И сегодня на дню не раз вспоминал, что надо просто зайти к комбригу Володе и сказать: «Володя, только три дня!» Но бумаг, прости меня, Господи, неверующего, бумаг на меня сыпалось из округа, из разведупра, из генерального штаба, из военной прокуратуры, от Кости Рогова, временно замещающего Васю Барибана, от самого комбрига Володи, от матерей наших солдатиков, от материнских комитетов, от городского комитета по делам молодёжи, от чёрта, от его помощника по сковороде, от дьявола и его

заместителя по заключению договоров на покупку душ — одним словом, за деревьями я не видел леса, за бумагами не видел не только личный состав, который был обязан воспитывать, а и не видел белого света вместе с женой, детьми, друзьями, не видел и себе говорил, вот-де это закончу, это разгребу, туда бумаги составлю, сюда отправлю, этих встречу, тех провожу, этому дам задание, а тому — накачку, здесь доклад прочитаю, там выступлю, сюда заметку напишу, положенные нормативы отпрыгаю, отбегаю, отстреляю, отмашу и тогда скажу комбригу Володе: «Я прошу только три дня!». Я так собирался сделать и сказать, но я знал, что никто меня не отпустит. Бригада пришла на новое место осенью прошлого года. До нас здесь стоял батальон строителей. И он нам оставил то, что в его представлении нам позарез было нужно для психологического привыкания к боевым действиям в населённом пункте. Я прибыл с последним эшелонем в январе. И то я увидел картину, заставившую меня вспомнить раздолбаные нашей артиллерией и авиацией афганские кишлаки. А уж что увидели приехавшие первыми, я спрашивать не решился. И весь год мы строились и благоустраивались своими силами, перedelывали даже то, что нам делала строительная бригада квартирно-эксплуатационной части. Говорили, что сам командующий округом генерал Греков Юрий Павлович, войдя в казарму после её ремонта, провалился сквозь пол едва не по самые, ну, в общем, сел на пятую точку — так отремонтировала кэч. Моей, так сказать, зоной ответственности, кроме всей наглядности в виде Аллеи славы, ремонта помещения библиотеки и всего прочего, что связано с воспитанием личного состава, была асфальтированная дорожка от капепе до крыльца штаба, которую я был обязан сделать к приезду новой комиссии, но пока не сделал, отдав асфальт и щёбенку на плац около казарм. Эта дорожка теперь висела на мне вроде удавочной верёвочки.

И я сел на банкетку в прихожей, а жена прижала мою голову к себе.

— Володечка! — сказала она.

— Аи, боло мовида, — сказал я сам себе. Ещё год назад бригада стояла в райском местечке среди зелёных грузинских гор. Я туда попал по замене из Афгана в восемьдесят шестом и пробыл там до самого выхода, то есть шесть лет, и, естественно, научился чуть-чуть балакать по-тамошнему. — Вот и пришёл конец! — сказал я.

— Я тебе сразу же позвонила, но мне на коммутаторе сказали, что у тебя занято. Я решила не звонить и тебя не тревожить, — сказала жена.

Я покивал, то есть подёргал прижатой головой. Она поняла, будто я молча плачу.

— Володечка! Ну хочешь, я тебе сегодня отдамся! — сказала она.

— Это само собой, — сказал я.

Я не был в этом отношении гигантом. И на эти темы, подобно Вовке Патрикееву, я вообще говорить не любил. Подленький был Вовка. В Афгане он подставил меня дважды. В девяносто первом, когда Грузия объявила суверенитет и стала формировать свои вооружённые силы, он ушёл туда и приезжал к капепе бригады на иномарке, шурша долларами. В прошлом году я с ним столкнулся в Екатеринбурге на улице. Он был полковником эмчеес. — Вон видишь бээмвэ отъезжает? — без всякого здоровканья показал он. — Председатель районного суда. Я её только что вот в этой гостинице трахал. И вообще, подполковник, я трахаю всё, что шевелится. А давай дёрнем по сто пятьдесят коньяку. Взбодриться надо. У меня теперь этих бл... , этих сучек столько, что если их прижать ягодица к ягодице и выстроить в шеренгу, то можно опоясать земной шар в полтора раза. Пойдём дёрнем. Я плачу! — снова предложил он.

— Я на твои не пью, Вова! — сказал я.
— Ну-ну! Всё ещё в честь офицера армейского спецназа играете! А я вот через два года выйду на пенсию, и будет она у меня такая, какую вы не получите всей вашей бригадой! И я напишу книгу про Афган, про нашу доблестную так называемую интернациональную помощь и про наш доблестный спецназ! Я напишу так, что вы там будете чмырями. И мне поверят! — хмыкнул он.

Я сплюнул и ушёл.

Так вот, ни в этом отношении, ни в каком другом гигантом я не был. Но жена меня всегда влекла к себе. Она влекла меня даже после этой некторости. Говорят, если жена изменит, то этим только привяжет мужа к себе. Все сцены выяснений, ревности, возможного мордобоя и временного ухода в этом случае мужа в казарму, к другу, к маме, на вокзал и даже на войну только упрочат его чувство. Моя жена нашла себе другого на курорте. Она решила, что это и есть её судьба, и она захотела разделить детей и упороть к нему. А тот, к кому она захотела упороть, как не трудно догадаться, на подобный налёт не рассчитывал. Он, как мы в Безгаране, в прицел не попал, то есть он с мушки быстро соскочил. Налёт-то ведь надо готовить тщательно. Она вернулась. Я её принял только с тем, что не смог оставить детей при живой матери без матери. Мы жили в разных комнатах. Меня до трясушки тянуло. Но я представлял, как она была под ним. Так и жили. Никто в бригаде об этом не знал. Только ребята сначала стали недоумевать, почему я вдруг на все мероприятия стал появляться один.

— Что такое, Володя? Ты что свою красавицу стал прятать? — стали спрашивать они.

Я ничего не отвечал. Они отстали, прикинув, что у меня завязался роман с Настей.

А тут жена сказала, и я невольно ответил, что это само собой, хотя никакого само собой не могло

быть. Из-под кого-то да с намерением делить детей она мне была не нужна.

Умер Юра. После Афгана он ушёл на замену в Пятнадцатую Чирчикскую бригаду, но мы с ним связь не потеряли и, более того, даже три раза вместе провели отпуск. Он заболел год назад, ушёл со службы, уехал на родину жены в Курган.

5.

Билет мне достался на двадцать часов местного — и то комбриг Володя напряг Костю Кравеца, вхожего к самому замполтыгу округа. А тот напряг начальника железной дороги или ещё кого-то. День я провёл в бригаде, потом заскочил домой переодеться в гражданское и рейсовым автобусом отбыл на екатеринбургский вокзал. Родина пассионарила. Президент, он же по совместительству царь Борис, на грудках схватился с председателем президиума Верховного Совета, а по совместительству паханом Хасбулатычем. Никто не работал. Кто мог, воровал. Кто мог, гадил. Кто мог, вооружался. Нас, армию, просто сдавали оптом и в розницу. Наступила, по Марксу, эпоха первоначального накопления капитала. Далее, по Марксу же, следовало ожидать концентрации капитала, то есть награбленного у народа богатства, на одном полюсе, в руках кучки олигархов, и обнищание масс, которым станет нечего терять, кроме своих цепей, — на другом. С утра до ночи, торча в бригаде, так сказать, за зелёным забором с красной звездой на воротах, я не видел лица этой новой родины. А теперь, на вокзале, увидел. Обложено было это лицо огромными пропиленовыми баулами с бараклом. Оно кричало, визжало, материлось и толкалось, по поводу и без повода бешенело взглядом и скалилось клыками. Прыщами к нему лепились плотные кучки со жгуче-чёрными волосами и узкими суредоточенными глазами, так сказать, гости из-за Амура, и пронзительно по-галочьи галдели над своим бараклом представители отколовшихся в самостоятельную государственность так называемых братских народов, ещё два года назад составляющих с нами единую общность — советский народ.

К своему месту я пробился по этим головам и баулам, вымостившим вагонный коридор. Все купе были напрочь забиты. В моём сидели четыре человека в железнодорожной форме. Купе мне показалось несказанно просторным.

— Нам сказали занять это купе! — извинились они.
— И слава Богу! Вы видели, что — в соседних! — сказал я.

— И здесь так же было! — сказали они.

— Вот я и говорю «Слава Богу!» — сказал я.

А потом это же сказал пробившийся в купе милицейский майор.

Железнодорожники стали говорить о своём. Милицейский майор некоторое время молчал,

потом, вероятно, уловив во мне что-то характерно не гражданское, спросил, не военнотрудовой ли я, и, будто возобновив прерванный разговор, сказал: — Я только что вёл дело. За это на меня завели дело. Я сам из Кургана. Меня специально пригласили — теперь так практикуется постоянно. Дело было по мошенничеству на очень крупном здешнем предприятии. Оно сейчас практически в руках одного очень крупного мошенника, кстати, депутата городского Совета. Так вот, это предприятие было продано специально созданному для такой махинации обществу с ограниченной ответственностью, которое денег не заплатило, а тут же объявило себя банкротом и продало предприятие этому мошеннику с мандатом депутата. Городская прокуратура и все прочие развели руками, мол, ничего не попишешь — рынок и реформы. Одним словом, кто-то довёл до Москвы. Меня назначили расследовать. Да, а этот наш депутат скупил на ваучеры уже порядка двухсот пятидесяти предприятий по всей области. Ваучеры, само собой, скупал у населения за копейки. Кстати, вы куда вложили, если не секрет?

— Пришла какая-то тётя вечером, сказала, что представляет «Газпром». Жена ей всё сдала! — сказал я.

— Документ-то хоть какой-нибудь получила? — спросил майор.

— Получила, — хмыкнул я.

— Правильно хмыкаете. Возможно, как раз и на ваши ваучеры этот новый Рокфеллер область скупил! — сказал милицейский майор. — Предприятия скупил, оборотные средства сразу изъяс, а их выставил на банкротство, благо, что только что вышел закон об этом банкротстве. Вот смотрите, свеженький пример. Был оборонный завод, выпускал детали для ракетных комплексов. Горбач подписал с Америкой соглашение об ограничении наступательных вооружений. Что там Америка при этом сделала — чёрт с ней. Горбач же, естественно, государственный заказ свернул, то есть кинул оборонку. Завод разработал программу товаров народного потребления, стал производить магнитофоны, бытовую технику с электроникой. А тут враз демократия и свобода, тут враз рынок — и завод за те же ваучеры скупил кто? Его скупил наш избранник народа, хотя не важно, что скупил он. Мог его скупить собственный директор. Завод скупил, средства его вывели, уникальное оборудование продали по цене металлолома, а несколько тысяч рабочих и высококвалифицированных специалистов, как говорится, выбросили на улицу. И никому нет до этого дела. Как же — рынок и реформы! Так вот, по тому крупному предприятию и депутату я возбуждал уголовное дело. И тут же — хоп, в прокуратуру поступило на меня заявление какой-то гражданки Шурыгиной по пунктам состава преступления,

короче о взятке. Районный прокурор моментально возбудил на меня уголовное дело. Ни проверки, ни телефонного звонка. Сразу — уголовка. Еду вот домой, может, хоть с семьёй попрощаться. Разваливают всю систему правоохранительных органов. Гонят из неё всех, кто хоть что-то из себя представляет. Гонят самых-самых профессионалов.

Я слушал его в пол-уха, стараясь думать о Юре. А от рассказа майора в память лезли наши последние два года в райском уголке и наш уход оттуда. Я с усилием гнал их, старался вспомнить нашу службу с Юрой, старался найти в себе боль. О скорой его смерти ещё весной сообщила его жена. Получалось, я смирился с ней, приготовился её встретить. Ещё могло быть и так, что я к смерти привык в Афгане или просто оказывался чёрствым человеком. Хотя, скажем, по жене боль притупилась, но не проходила. И попытки сейчас думать о Юре, попытки заставить в себе найти боль от его смерти приблизили воспоминания об отношениях с женой. Она вдруг стала какими-то намёками говорить о каком-то возможном конце наших отношений. Родина бурлила. Нас метали по всему Закавказью. Ни о какой боевой подготовке, как было прежде, не было и речи. Я был наштаба третьего отряда. Одна моя рота была в городке Казахи, одна была на складах в соседнем Азербайджане, одна охраняла инженерный и вертолётный полки в Цхинвали. Кстати, тогда у Сани Михайлова в Цхинвали бандиты убили жену и маленькую дочь. Я сразу же отозвал его к себе — иначе бы он натворил там дел. Мы практически оказывались вне закона. Мы охраняли жителей и военное имущество. А наши семьи никто не охранял. В городке оставалась рота связи и остаток одной из рот. В нарушение Устава посты пришлось увеличивать. Заступать в караул, опять же, в нарушение Устава пришлось каждые сутки. И я с комроты связи проверяли посты через каждый час. Дома практически я перестал бывать. Сынишка в школу перестал ходить ещё весной восемьдесят девятого. После событий в Тбилиси девятого апреля почти вся Грузия на нас очерилась, хотя мы никакого отношения к этим событиям не имели. У комбрига и моего друга Миши Масалкина был день рождения. Только-то мы с ним подняли рюмки, как раздался телефонный звонок. И Миша мне сказал: «Пока не успел на грудь принять, давай с оперативной группой вперёд!» — это было к вечеру десятого. Мы сорвались. Через час за нами прибыла бригада. И мы занимались охраной. Часть охраняла комсостав округа, штаб округа, семьи. Часть патрулировала по городу, стояла на наиболее важных направлениях и перекрёстках. Через несколько дней бригаду вывели к месту постоянной дислокации. А комиссия — нечего и говорить, какая комиссия — объявила, что в событиях участвовала наша бригада. Нас сроду

и задачам-то таким не учили — разгонять народ. Наше дело — тыл противника. И в этом отношении, я прямо скажу, мы в Афгане занимались в основном не своим делом. А в Тбилиси мы занимались тем, о чём я уже сказал. Но свалили на нас. И учительница в классе у сына сказала: «Его отец в Тбилиси убивал наших детей!» — учительница, которая до того в нашем сыне души не чаяла. Сына мы отправили к родителям жены. А она с дочкой осталась. И вот стала говорить о каком-то конце наших отношений, о каких-то цикличностях в семейной жизни, мол, через определённое время в ней начинают возникать трения, отчуждённость, сомнения в чувствах и всё такое прочее. Может быть, так оно и бывает. Во всяком случае, у нас случилось так. Она стала раздражительной, крикливой и слезливой, стала говорить, что я её не люблю. Ну до этого ли мне было. И однажды вдруг она выкрикнула: «Володечка! Я бы не знала, что сделала, чтобы тебе хоть чуточку стало легче. Я сама себе не рада. Ну за что мне это! Ведь я люблю тебя!» — я понял так, что она страдает от всех этих событий. Я успел только её расцеловать, как забрякал телефон с капепе — угроза нападения, и я опять ушёл на несколько суток. И только здесь, уже по месту новой дислокации, когда я прибыл с последним эшелонам в январе прошлого года, я обнаружил, что жена давно, ещё до событий, на курорте спуталась с мужчиной.

Вот об этих воспоминаниях боль была. А боли о Юре не было. И на сотую попытку найти в себе боль о Юре, что-то мне сказало, что он для меня не умер, он остался для меня жив. Я с облегчением согласился.

В Курган приехали за полночь. Железнодорожники пошли в двери с табличкой «Посторонним вход воспрещён». Милицейский майор сел в служебную машину. Я до утра остался на вокзале. Мне стал вспоминаться Юра. Он мне стал вспоминаться в Афгане, в моей первой боевой операции, или, как было принято говорить, на моих первых боевых.

Был Юра по внешности и по характеру каким-то округлым. Он был невысок, нос картошкой, ранняя лысина, белая кожа, широкие ладони и толсто-вагые, но чуткие пальцы с крепкими широкими ногтями. Он более походил на интеллигента в хорошем понимании этого слова. Говорил он немного, как бы даже не умел говорить. Однако он всегда говорил толково. Команды, вопреки положению о том, что командира в строю отличает громкий командный голос, он отдавал негромко. Я полагаю, многим солдатикам его команды дублировали их соседи. Непременный по всякому поводу и без повода разнос от высоких кокард он принимал молча, спокойно, а порой даже как-то коротко, будто прочищая нос и будто хмыкая, сопел. Он говорил, что это у него появилось после контузии. Но какая же высокая кокарда примет это

во внимание. Наоборот, это придавало высоким кокардам небывалое вдохновение.

Вообще, отвлекаясь от Юры, стоит подивиться, откуда у высоких кокард берётся столько желания, столько энергии, столько вдохновения или, как кто-то сказал, столько свободного времени кричать, кричать и кричать. Любой чирей с тощей задницы если вдруг получал задачу проверить такого же чирья только с другой тощей задницы, в единый миг становился высокой кокардой и тут же начинал кричать. Есть старый армейский анекдот про подобных проверяющих. Приехал в часть такой. Само собой, что всё обругал, на всех накричал — деревья в лесу вокруг части росли не по линейке, трава на газонах была не покрашена, казармы и контрольно-пропускной пункт не был выстроен в виде рыцарских замков, техника была без розовых ободочков по контуру, вода в умывальниках была мокрая, сухпаёк у начрода был сухой и так далее — одним словом, оценка «два» и служебное несоответствие. Командир части кинулся к начпродус задачей: «А накрыть у речки поляну, сварганить шашлык-машлык и водочку-молодочку! Речку кипяильником нагреть до соответствующей температуры! Авось пронесёт!» — Наелся проверяющий, напился, телеса в речке помочил, лёг на травку, зажмурился от удовольствия: «Ох, хорошо быть проверяющим, век бы в проверяющих ходил!» — лежит, мечтает и не заметил, что, простите, из казённых сатиновых трусов все его приспособления наружу вывалились. Откуда ни возьмись, подбежала какая-то собачка и ну язычком эти приспособления нализывать. «Командир! — замурылкал проверяющий. — Командир! Ну это лишнее, командир!» — Вообще, никто не сосчитал, сколько часов в сутки кричит каждая высокая кокарда. Я как-то сказал об этом Косте Кравецу. А он мне выдал: «Офицер Красной армии на различные построения и связанные с ними громкие команды тратит в год столько времени, сколько его отводится на лекционный и семинарский курс в университете!» — и Косте можно было поверить. Да что там — поверить, когда общеизвестно, что знаменитый мусульманский батальон, тот самый, который брал дворец Амина, собранный с бору по сосенке, но полностью освобождённый от нарядов, караулов, посторонних работ и прочей шагистики, прошёл годовую программу подготовки за полтора месяца! А Игоря Стодеревского и двести гавриков из бригады перед самым Афганом летом семьдесят девятого вместо этой подготовки бросили на строительство военного городка! Вопрос: где же интересно были строительные части, что за объекты чрезвычайной важности они возводили, если перед самой войной боевую часть сняли с боевой подготовки? А сокращение перед самым Афганом до минимума штата бригад спецназа?

А сокращение до бригады и того самого триста сорок пятого полка, с которым мы стыковались в Безгаране, сто пятой воздушно-десантной дивизии, обученной воевать в условиях, абсолютно схожих с афганскими? Вот так было. И потом, как сказал Юра, «этот маразматический бред старцев» эти старцы из министерства обороны и правительства объявили необходимой оперативной маскировкой перед вводом войск в Афганистан.

Юра был начитан, любил английский юмор, но сам что-либо говорить с юмором не умел. И совсем он не умел ругаться. Вместо этого он только хмыкал и говорил: «Ну, ёлки!»

С этим хмыком и этими ёлками подошёл он ко мне там, на высоте четыре сто двенадцать, и сказал, что— всё, что надо прорываться. Я уже говорил, когда мы отправили натовского инструктора, нам было приказано выходить на север, в соседние ущелья, где тоже шла армейская операция. А всё своё мы схоронили внизу. Мы ведь предполагали, что уйдём только на одну ночь. А вышло— четыре ночи. Днём— пекло, ночью— колотун насквозь. И есть нечего. И нет воды. Представить себе невозможно, как же худо сидеть без воды! Я вот сейчас вернул бы всю цивилизацию в век этак восемнадцатый— только чтобы не гадили и не травили воду! Я согласен жрать пареную репу, жить при лучине, ходить в лаптях, терпеть боль от ран без всякого промедола и прочей анестезии, шлёпать пешком тысячи километров— но только чтобы была чистая вода! Её мы пытались собирать по науке при помощи так называемого перегонного устройства, то есть, по сути, полиэтиленовой плёнки, кусок которой додумались взять с собой, и котелка. Наука гласит, что при этих двух компонентах и трёх камнях можно за сутки из воздуха получить литр воды. Более того, наука гласит, что перегонное устройство может стать и источником пищи, так как, цитирую по памяти, вода будет привлекать змей и мелких животных, которые заползут в полиэтилен, а вылезти оттуда не смогут. Но ни воды, ни змей, ни мелких животных нам достать не удалось. Как-то не в ладах мы оказались с наукой. А по той же науке, необратимые процессы в организме наступают при потере воды в нём, превышающей десятую долю массы тела. Мы, наверно, потеряли вообще всю воду. И пить хотелось до потери всякой совести, всякого понятия о чём-либо, до убийства того, у кого вдруг оказалась бы во фляжке, в ладошке или за щекой хоть капля воды. По ночам мы лизали камни. Их холод давал какую-то иллюзию. А так слюна превращалась в клейкие комки, не отрывалась от языка и не шла в горло. Один за другим солдатики стали вырубаться. Мы, офицерики, на это не имели права. Мы обязаны были охранять солдатиков, потому что солдатик был таковым, в отличие от нас, не по собственной воле, то есть

жизнь его была дороже нашей. Мы второём, я, Юра и Олег Кильчевский, ходили от одного солдата к другому и тормозили их. Ниже нас метрах в двадцати со всех сторон лежали духи, и нам доносилось их дыхание.

Не лучше солдатиков, я тоже на миг вырубился. Я обошёл в свой черёд всех и присел на секунду, сказав себе, что только на секунду, тут же прибавив, ну-де на несколько секунд, а конкретно на двенадцать секунд. Я сказал, вот-де глаза закрою, сосчитаю до двенадцати и опять встану. Я присел— и меня за плечо тронул Юра.

— Володя, посмотри вон туда!— прошептал он и повёл меня мимо пулемётного гнезда в сторону небольшой скальной террасы на уровне духов. Мы пошли, останавливаясь на каждом шаге и слушая чужое дыхание.— Слышишь?— шёпотом спрашивал Юра. Я отвечал, что слышу.— А сейчас?— спросил он наконец почти у самой террасы.— Не слышу,— сказал я.

— Они не перекрыли эту террасу! Надо попробовать по ней уйти!— прошептал Юра.

— А если это ловушка?— спросил я.

— Но ещё день мы не продержимся! Давай пойдём!— сказал Юра.

Мы снялись и пошли. Я пошёл замыкающим. И вскоре я стал слышать за спиной чужое дыхание. Я понял, что духи нам очистили выход только потому, что поняли— мы будем держаться до последнего и мы их положим столько, что Ахмад-Шаху станет впору просто пойти и сдать. Они шли метрах в ста после меня. И я слышал их тяжёлое и сдерживаемое дыхание, не перекрываемое даже шумом движения. Может, мне их дыхание казалось. Вполне может быть. Но я его слышал и думал, что они нас выдавливали, потому что они тоже любили жить. Я именно так думал. Я думал— они любили жить. Видимо, без воды мозги мои скукожились и их хватало, чтобы только стянуться вокруг мозжечка. Идти я мог, а соображать нет.

6.

Дверь открыла жена Юры.

— Володечка!— припала она ко мне.

— Где он?— спросил я.

— Юра?— спросила она.— Юру вчера схоронили!— и, отвернувшись в темноту комнат, крикнула:— Володя Ломаков приехал! Слышите? Вставайте! Друг Юры приехал!

— А как же телеграмма?— спросил я.

— Да извини. Мы просто закурились. Я попросила племянника, а он вспомнил чуть ли не вчера!— сказала она и снова крикнула в комнаты:— Ну вставайте! Друг Юры приехал!

Первой вышла молодая женщина, показавшаяся мне знакомой или, по крайней мере, похожей на кого-то из тех, кого можно было увидеть на экране.

— Вот, Володя, друг Юры. Вместе в Афгане воевали! А это наша невестка Данута. Имя литовское, а сама она русская. Юра тебе писал!—представила нас друг другу жена Юры.

Данута протянула мне руку.

— Да, Юрий Сергеевич много о вас рассказывал!—сказала она.

— Но как же так быстро похоронили?—спросил я.

— Ну, похоронили, Володя. Мы не надеялись, что ты приедешь. Да не расстраивайся. Сейчас позавтракаем и поедem к нему на могилу!—сказала жена Юры.

— Вы пьете кофе или чай?—спросила Данута.

— Водку!—неожиданно резко сказал я.

— Прямо сейчас?—спросила Данута.

— Да, налей ему, выпьет с дороги!—сказала жена Юры и опять припала ко мне.— Володечка! Ты бы видел, как он умирал!—и спохватилась:—Нет. Что я говорю! Хорошо, что ты не видел! Он даже закричал, чтобы мы его задушили, такие начались боли. Последние полгода мы с Данкой вообще света белого не видели. Бедный мой Юрочка!—и она заплакала, но заплакала как-то коротко и не жалостно, так же, как мы в своё время коротко и не жалостно смотрели на убитых.

— Данка, ты налила Володе водки?—тут же спросила она и сама пошла на кухню.

Я остался среди прихожей. Во мне встопорщилось что-то вроде неприязни—неизвестно только к кому.

Комбриг Володя вчера утром посмотрел на меня вкось.

— Сам же знаешь, что не могу тебя отпустить!—сказал он.

— Почему?—спросил я.

— Потому, подполковник!—разозлился он.

— Умер мой друг. Мы вместе прошли Панджшер! Дай мне три дня!—сказал я.

— А завтра-послезавтра приедут из округа. Да если сам командующий Греков Юрий Павлович приедет? И что ты им покажешь? Колышки вбитые, как у кого-то там написано, покажешь?—побагровел комбриг Володя.

— У городничего в «Ревизоре!»—сказал я.

— Что у городничего?—спросил комбриг Володя.

— Вбитые колышки!—сказал я.

— Интеллектуал! Посмотрю, как тебе эти колышки в одно место Греков втыкать будет!—рявкнул комбриг Володя.

— Тебе кто давал право орать?—побагровел, но тихо сказал я.

— Да ты что, Володя! Ну ты сам посуди!—осеялся комбриг.

— Я вам не Володя, а заместитель командира отдельной бригады специального назначения главного разведывательного управления генерального штаба подполковник Ломаков! И я рапортом прошу дать мне три дня увольнения на похороны

боевого товарища и командира! И зачитайте мой рапорт в качестве патристического воспитания перед личным составом бригады, товарищ полковник!—почти ослеп я от прихлынувшей к лицу крови.

И вот эта утихшая злобень сейчас вспыхнула какой-то неприязнью без адреса и пароля.

— Он где похоронен?—спросил я.

Жена Юры что-то ответила.

— Он где похоронен, на каком кладбище, как туда проехать?—снова громко спросил я.

— Не волнуйтесь. Нам всем плохо. Все вместе поедem после завтрака!—сказала Данута и пошла в комнату.—Вставай,—услышал я оттуда.—Друг Юрия Сергеевича приехал, а мы его держим в прихожей!

— Проведи его в запасник, покажи мои работы!—было ей ответом, но через минуту, застегивая джинсы, вышел сын Юры, поздоровался за руку и прошёл на кухню.—Мать, дай выпить!—сказал он.

— Вон, с Володей, другом отца, выпейте. Зови его сюда!—сказала жена Юры и сама позвала:—Володя, иди на кухню, я вам с Алёшкой приготовила!

Я проглотил злобень. Потом мы с сыном Юры проглотили по рюмке. Он сказал, что у него сегодня самолёт в Питер, а оттуда куда-то в Германию на пленэр, и снова ушёл в комнату.

— Художник. Творческая личность!—с любовью сказала жена Юры.

Мне подумалось—ничего не напоминало о смерти Юры, и я промолчал, а потом подумал, что никто ещё не может поверить в случившееся. В кухню вошли молодые мужчина и женщина, оба статные и красивые. Жена Юры сказала, что это её племянник с женой.

— Вот он, обормот, и послал телеграмму невовремя!—сказала она.

Племянник промолчал, а я сказал, что всякое бывает.

Завтракали в большой комнате за большим столом молча и в напряжении. Я чувствовал, что почему-то это напряжение вносил я. Мне снова захотелось уйти, одному съездить к Юре на могилу, а потом рвануть домой. Я снова спросил, где он похоронен. Жена Юры снова сказала, что поедem все вместе, что надо подождать родителей Дануты.

— А вы знаете, Володя!—вдруг воскликнул сын Юры.—А Данутка вообще-то должна была стать женой вот его,—показал он на своего двоюродного брата.—У них был роман. А досталась она мне!—Перестань!—сказала жена Юры.

— А разве не так?—спросил сын Юры.

— Не так!—резко встала из-за стола Данута.

— Ну-ну!—ухмыльнулся сын Юры.

— Перестаньте!—снова сказала жена Юры.

— Да пусть,—сказал племянник.

— Ну ладно. Мне пора. Сейчас такси приедет!—сказал сын Юры.

— Может, всё-таки съездишь к отцу на могилу с нами. Билет можно переделать на завтра! — сказала жена Юры.

— Что это даст? Вернусь и съезжу! — сказал сын Юры.

Такси подкатило минут через пятнадцать. Сын Юры сказал всем «Чао!». Данута и жена Юры пошли его проводить.

— Мелет что ни попадя! — сказал племянник.

— Ещё чаю? — впервые подала голос жена племянника.

Через несколько минут вернулись жена Юры и Данута.

— Отправили. Художник. Творческая личность. Мы уж не обращаем внимания! — сказала жена Юры.

Позвонили родители Дануты, сказали, что смогут приехать только на обед.

— Вот так, Юрочка! Все заняты! Только твой друг и приехал! — сказала жена Юры.

7.

На кладбище поехали на «Волге» племянника — он за рулём, я около, женщины втроём на заднем сиденье.

— Что с армией-то творится? — спросил племянник.

Я вспомнил, как он выдержал слова сына Юры, и мне показалось бестактным промолчать, хотя молчать я считал для себя делом обычным.

— Что делается... — начал отвечать я, но жена Юры меня перебила.

— Что делается! — сказала она. — Нас с Юрочкой из этого Чирчика узбеки только так выбросили. Хорошо, сын в это время здесь, в России, учился! Во время учёбы и женился на Данутке! А до того вот этот оборкот, Серёжа, — она легонько тряхнула племянника за плечи, — ухаживал за ней!

Мне очень захотелось взглянуть в зеркало заднего вида на Дануту. Я с усилием остановил себя.

— Данута тоже художник? — непосредственно к ней не обращаясь, спросил я.

— Нет. Я не поступила в Свердловске в художественное училище! — сказала Данута.

Мне опять показалось, будто мы были знакомы. Я опять удержался, чтобы не взглянуть в зеркало. — Не поступила и пошла учиться в медицинское училище и теперь, дурочка, работает медсестрой в роддоме! — сказала жена Юры.

Я понял — она забыла начало разговора, и сказал:

— Да что с армией делается. Вопрос простой, а любой ответ будет неправильный!

Я так сказал, вспомнив байку про некогда служившего в штабе округа генерала Харазию, абхаза по национальности и кавалериста. Однажды он, будучи ещё начальником штаба полка, застал

солдатика, стоявшего на посту у знамени части с папиросой во рту.

— Ты что куришь? — взорвался будущий генерал.

— Сигареты «Прима», товарищ майор! — от страха быстро нашёлся с ответом солдатик.

— Ответ правильный! Вопрос неправильный! — мудро подвёл черту под боестолкновением будущий генерал.

— Вот так, спросить можно, а ответить так, чтобы правильно, нет! — сказала я.

А то что творилось с армией, можно было сказать всего парой слов — издеваются и уничтожают. Нас погнало отовсюду в Россию. Мы всех могли бы образумить. Но нам дали команду молча терпеть все издевательства, потому что президент сказал всем хватать столько свободы, сколько влезет — всем, кроме нас. Вместе со свободой хватили и оружие, большей частью не умея с ним обращаться, как, например, случилось в Абхазии. С послевоенного времени мы стали готовиться к войне с НАТО, и Закавказье было просто начинено оружием. Могу сказать, что только в Грузии было более девятистот единиц тяжёлого вооружения. Ещё больше его было в Армении и Азербайджане. А всего Закавказье захватило у нас три с половиной тысячи единиц тяжёлой боевой техники и семнадцать тысяч вагонов боеприпасов. Думаю, теперь эти цифры уже не секрет. Кстати, при этом мы, наше ведомство, не отдали ни одного автомата, ни одного патрона. И можно было спросить, почему мы не отдали, а другие отдали. Кто бы только взялся на такой вопрос ответить. Можно было спросить, за что этим вооружением за четыре года были убиты сто тысяч человек. И опять — кто ответил бы на этот вопрос! И ещё — они захватывали. Но кто-то же из нас этому не сопротивлялся, кто-то потворствовал, а кто-то просто воровал.

Говорить обо всём этом, о случаях где-то там, где я не был свидетелем, было стыдно. Мы не воровали. Мы не отдали ни одного патрона. Мы не изменили присяге. Но нам было стыдно. Говорить об этом я не стал, а привёл пример из нашей жизни всего лишь менее года назад.

Мы уходили из райского уголка Грузии. Технику мы отправляли железной дорогой, а семьи — бортами, то есть самолётами военно-транспортной авиации. Я отправлял последнюю партию. Это было в конце октября. Приехали мы в Тбилисский аэропорт, выгрузились прямо на лётном поле под открытое небо, так как, по нашим данным, мы тотчас же должны были отправиться. Но прошёл день, прошла ночь, прошёл ещё день. На мои запросы, где эта долбаная военно-транспортная авиация, отвечали ждать, борт задерживается с вылетом из одного из прибалтийских аэродромов. И сидели мы так под лазурным, как поётся в песне, небосводом восемь суток — ни умыться, ни сходить в туалет, ни согреть чего-то горячего хотя бы для

детей. Да где — горячего! Сухпаёк был выдан, как мы считали, с большим запасом, на трое суток. Его растянули на неделю. И всё. Дальше — голод. Голод, холод, грязь. Появились жуткие по величине и прозорливости вши. А мимо туда-сюда, туда-сюда сновали самолёты гражданской авиации. Мне же был только один ответ — мы суверенное государство, мы вас сюда не звали, ждите свою авиацию или идите пешком. И много в армии выше начальства не напрыгаешь. Одним словом, когда наконец свалился с лазурного неба благословенной Грузии борт майора Коваленко, мы уже превращались в обезьян, и на нас мог бы зарабатывать Тбилисский аэропорт, благо что в Абхазии во всю уже шла война и, говорили, что сухумский обезьяний питомник был разгромлен. Борт свалился, из него брюхом вперёд, как изображали на карикатурах кровопийц-эксплуататоров, вышел командир майор Коваленко и объявил: «На борту тридцать тонн прибалтийского сливочного масла, и пока я его не продам, мы не полетим!». Орда — в вой. Я — в мат. Ах, суверенное государство, думаю, ах выше начальства в армии не прыгнешь! А вот вам то самое, куда обычно в нужных случаях посылают! Двум своим шофёрам я приказал машины поставить поперёк взлётной полосы и никого не подпускать, как в карауле, в случае чего, открывать огонь, и объявил это по аэропорту. Только так и заставил подлеца майора взлететь и по спецсвязи связался с дежурным министерства обороны. Связался и всё ему доложил. «Хорошо, подполковник. Примем меры!» — сказал дежурный. Слава Богу, дежурный оказался человеком. А тот подлец-майор взлетел и в салон отопление не стал включать. Высота — десять тысяч. За бортом, как водится, минус сорок. Женщины — к нему: «Дети же в салоне, все в лёгонькой одежонке! Ты же, майор, тоже из своей Прибалтики будешь уходить, и твоя семья вот так же будет мучаться!» — Он в ответ им: «А я буду уходить на своём борту! И туда погружу свою прибалтийскую мебель. Сяду я в кресло и буду чёрное кохве пить! А если вы не захотели на тёплом солнышке ждать, пока я масло продам, так будет вам теперь солнышко холодное, потому что в Таганроге сядем на заправку. И я там стоять буду до утра!»

Но только он сел в Таганроге, только собрался всех с борта гнать — ему: «Куда, мать твою, майор! Полчаса на заправку — и вперёд, чтобы мы тебя не видели!» Это дежурный по министерству обороны человеком оказался, связался с Таганрогом.

Майор струсил, взлетел, отопление включил и — к женщинам: «Да что же вы, дорогие мои! Что же вы так-то! И если у вас такие связи, милые мои, поспособствуйте в Кольцово, чтобы меня сразу домой отправили!» — почувял, подлец, что в Кольцово ему худо придётся.

Они поспособствовали — позвонили в особый отдел. Приехали чекисты с маленьким вопросиком,

откуда столько масла. Вот, думаю, тут ответ оказался правильным.

— И у нас было не лучше, когда мы из этой дыры Чирчика выбирались! — сказала жена Юры.

А я отважился найти в зеркале глаза Дануты.

8.

Наверно, она что-то нашла в моём взгляде. После кладбища стали готовить обед и понадобилось кое-чего купить. Жена Юры погнала в магазин Дануту и попросила меня помочь ей нести пакеты. По дороге Данута вернулась к разговору в машине. — И всё-таки, что делается с армией? — спросила она.

Я подумал, зачем это ей. Но уже то, что спросила, было приятным.

— Не знаю, — сказал я. — Наверно, то же, что и со страной! — а потом сказал, что, собственно, вывел для себя, испытывая на своей шкуре всё творящееся, вернее, творимое со страной. — Ушла старая совесть. На её месте родилась другая совесть, не знаю, какая — горбачёвская, ельцинская, чубайсовская, в общем, их совесть. Разве они себя считают бессовестными? Нет, они себя не считают бессовестными, как бессовестным себя не считает никто из нас. Только, выходит, у каждого своя совесть. Вот и эти свято поверили, что всё делают для страны. Ещё, небось, думают, что мы, тупорылые, этого понять не можем, оттого у них всё получается наперекосяк!

— Но они так не считают! — поправила Данута.

— Ну да, — согласился я.

— Про новую совесть я ещё не слышала. Вы, наверно, об этом много думали! — сказала Данута.

— Станешь думать! — усмехнулся я.

— А разве в армии принято или разрешено думать? — спросила она и поспешила исправить: — Не обижайтесь! Я глупо шучу! Юрий Сергеевич был настоящим человеком. Он хоть и был очень молчаливым, но с ним можно было молчать, и от этого молчания, ну, не знаю, как сказать, от его молчания вдруг начинаешь думать, что ли. Иногда мы с ним обо всём говорили. И он говорил почти так же, как вы. Я, как вас увидела, так сразу поняла, что Юрий Сергеевич, говоря о вас, был во всём прав!

— Ну, прямо во всём прав? — попытался я пошутить.

— Прямо во всём, — с едва уловимой горчинкой сказала она.

Я понял, что горечь относится к смерти Юры. — Во всём! И я без него в этой семье не останусь! — сказала она.

Она так сказала и в испуге остановилась.

— Вот это заявление! — тоже остановился я.

— Простите, вырвалось! — сказала она.

Я взял её за руку. Она сжала мою ладонь. Почему я так обнаглед, то есть взял её за руку, я скажу

позже. А сейчас я взял её за руку, она сжала мою ладонь и сказала:

— А считайте, как хотите!

— Хорошо. Я буду считать, как хочу! — улыбнулся я.

Она на улыбку не ответила.

— Если бы про самолёт и майора рассказывал кто-то другой, я бы не поверила, посчитала бы за клевету. А вы так похожи с Юрием Сергеевичем — и вам я поверила. Вы рассказывали, а я думала, кроме того, какой подлец этот майор, и кроме того, что, может быть, он выполнял приказ, ещё и то, какие же всё-таки ваши офицерские жёны, сколько им достаётся и как они всё переносят! Я про них думала и думала про Екатерину Михайловну, про свекровь. Юрий Сергеевич заболел. Она поняла, что он умрёт, и мне как-то сказала: «Я не могу жить одна. Мне обязательно нужен мужчина!» — И тут же она нашла себе. Знаете, я думаю, что Юрий Сергеевич догадался. Но как он это перенёс, вы бы знали! Я поняла, что он ей даже намёком это не показал! — сказала она.

Не знаю, почему, но и я, только вошёл сегодня, только жена Юры всплакнула у меня на плече, вдруг понял, что она уже не одна. Вот убейте, но я так подумал. Вернее, так по мне пронеслось и тут же заслонило каким-то другим чувством, чувством стыда, что ли, чувством осуждения себя. Нет, мне сейчас этого не передать. Слишком всё было быстро, гораздо быстрее, чем можно определить словом «молниеносно» или каким-то другим словом из этого же ряда.

— Данута, а мы не могли где-то раньше встретиться? Во всяком случае, вы мне кого-то напоминаете! — сказал я.

Кажется, впервые она улыбнулась.

— Вы когда-нибудь видели фотографию Ариадны Эфрон, дочери Марины Цветаевой? — спросила она.

— Да, у нас есть книга её воспоминаний, Ира недавно купила! — обрадовался я.

— Ну вот! — сказала она.

— Чёрт! Как же я сразу не мог соотнести! — начал я себя корить в том плане, что мне по профессии было положено, так сказать, сразу же соотнести одно с другим. Чтобы замаять свою промашку, я спросил: — Данута, простите, а почему имя у вас литовское?

— Папа там служил. Наверно, влюбился в какую-нибудь литовочку с этим именем! — сказала она и тоже, что-то в себе скрывая, спросила: — А Ира — это кто?

— Ира — это жена! — сказал я.

Разговор больше не получился.

Я стал думать, вот и жёнами мы с Юрой похожи, только моя, наверно, посовестливей, что ли, хотя если уж есть две совести, то, наверно, есть и третья — совесть влюбившегося человека.

— Как всё сложно, — сказал я.

Данута промолчала. И ничего мне не сказала её ладонь. Была она широковатой, тёплой и чуткой. И эта ладонь промолчала.

9.

А теперь немного о том, почему я так обнаглел, то есть взял Дануту за руку. Я сделал это в порыве. Ну а порыв — это следствие чувства. И я, как бы это сказать потоньше, в графе о семейном положении я вполне мог написать: разведён, то есть я был свободен. И самое главное, я был уверен — если она свою руку отведёт, то сделает это очень деликатно. Но более я был уверен — она руку не отведёт. И ещё более я был уверен — она руку не отведёт не из той же деликатности, с которой бы отвела, если бы отвела. А она руку не отведёт оттого, что... Вот тут не хватает у меня слов передать ту тонкую, простите за новую наглость, любовную ниточку, которая стала нас связывать с минуты, когда я увидел в зеркало её глаза. Дело было не в моей мужской опытности. Женщин до жены у меня было две. А после жены, ну то есть после того, как мы стали жить с женой в разных комнатах, у меня не было ни одной женщины. Так что мужской опыт мой был ровно по той армейской прибаутке, когда собирались на стрельбы, но не поехали — оценка «удовлетворительно», собирались на стрельбы, поехали, но не доехали — оценка «хорошо», собирались на стрельбы, поехали, стреляли, но не попали — оценка «отлично». Вот такой был мой мужской опыт. А чувствовать людей меня научила служба.

Есть масса людей, наделённых таким чувством от природы. Есть масса людей, которые таким чувством не наделены, но уверены, что наделены. И есть люди, научившиеся этому в ходе опыта. Я себя отношу к последним. Я научился чувствовать людей на службе. Если даже это не так, если я, например, наделён был этим чувством с рождения, тогда пусть мои слова будут знаком благодарности службе и тем людям на службе, которые меня, сами того не чувствуя, этому научили.

Наше ведомство, как мы иногда себя называем, есть части и соединения специальной военной разведки, отличающейся от других видов разведки тем, что нам, кроме обнаружения противника, ставится задача ещё и нанесения ему поражения. И вот, цитирую один из документов: «Выполнение боевых задач осуществляется специально обученным и подготовленным личным составом...» — я здесь выделяю слова «специально обученным и подготовленным». То есть я был обучен на службе и этому — чувствовать людей. Хотя, повторяю, я взял Дануту за руку в порыве или, по-нашему, осуществляя налёт. И если это был налёт, то он был подготовленный. Вообще я трус. Причиной моей трусости является стыд. Нас служба учила убивать. И наша профессия — убивать. Но нас

служба учила убивать не ради собственного удовольствия, не ради мести за погибшего друга или мести за поруганное священное Отечество. Она нас учила убивать, подчиняясь требованиям воинского долга во имя священного Отечества, в полном безразличии к врагу и к себе. Только такое безразличие даёт возможность не сдвинуться по фазе, не поехать крышей и как там ещё говорят про сумасшествие. Жалость к врагу и жалость к себе одинаково сковывают. Безразличию вроде бы я обучился, но только не по отношению к женщине. Их у меня, возможно, было бы больше чем две, не считая жены. В том же Афгане были возможности занимать, как говорили в войну, пепеже, попутно-полевую жену. Но меня сковывал стыд, и я трусил, я панически боялся того, что я проявлю чувство, а на него мне будет ответом этакое «Фи!», которого я не перенесу. А в случае с Данутой я почувствовал—этого «фи» не будет.

Нас учили убивать. Но ещё нас учили всю жизнь учиться. Но парадоксально—именно на службе учиться было невозможно. Как вон Серёга Аксаков поступал в академию! На иностранном языке московские дамочки его спрашивают: «Ви хайзен зи?»—означающее: «Как Вас зовут?» А какое майору Серёге, боевому офицеру, комбату, «ви хайзен зи». Сидит майор Серёга, только что державший в руках всю провинцию Айбак, перед московскими дамочками и непривычно потеет, лицом же, чистым светлым русским лицом, мыслительный процесс изображает. «Ну что, товарищ майор? В чём проблемы? Почему не отвечаете?»—спрашивают московские дамочки. «Я думаю!»—отвечает комбат майор Серёга. Где же и когда же ему выучить это «ви хайзен зи», если он и дома-то раз в неделю после дождичка в четверг бывает.

Снова правильный вопрос: почему у царского офицера было время на самообразование?—ответ на этот вопрос впервые будет правильным. Потому у него было время на самообразование, что под рукой всегда был унтер-офицер, то есть, по-нашему, сержант, служащий сверх срока. Отец он там родной был, не отец—это другой разговор. Но унтер-офицер отвечал перед командиром за всё. И в Красной армии долгое время было так же. А вот когда ради экономии решено было заместителем командира взвода назначать сержанта срочной службы, то есть сверстника всем остальным, да когда в армию стали подбирать всех увечных и калечных, всех скорбных духом, то есть психически больных, и уголовных, тогда-то и получили мы не армию, а подобие колонии. Тут уж офицеру стало не до собственной учёбы, не до повышения своего образовательного уровня. Тут у офицера появилась вилка: или закрыть на всё глаза и пустить на самотёк, хрен-де с ней, с дедовщиной, я не вижу и ладно! или же, чтобы в подразделении был порядок, в подразделении дневать и ночевать.

И это при том, что при объявлении повышенной боевой готовности или во время учений, различных министерских проверок офицер и без того находится на казарменном положении. Он детей с женой, бывает, месяцами не видит. Какая же ему учёба, какой культурный уровень! Да ещё жуткий крик высоких кокард и плацевые построения стали занимать всё служебное время, потому что по ним стали оценивать служебное соответствие командиров! Так и стали расти кокарды за счёт жуткого крика, потому что ни за какой другой счёт расти не стало возможности.

Одним словом, я совершил налёт, но налёт заранее подготовленный как в отношении моей хоть какой-то, но обученности чувствовать людей, так и в отношении того, что в графе о семейном положении я смело мог писать слово «разведенец».

Шутка, конечно, это, и притом казарменная.

И что здесь стоит заметить! Я получил только один день свободы от службы—и уже сумел столько наболтать. А если бы нашему брату дать по свободному дню на каждой неделе... Ах, правы высокие кокарды—нельзя нам давать ни минуты.

10.

Первыми к обеду приехали сестра жены Юры с мужем. Жена Юры услышала под окном стук захлопывающейся дверцы автомобиля, выглянула и побежала встречать.

— Володечка! Сестра приехала, пойдём встречать!—позвала она.

Вместо этого я пошёл на кухню, где была Данута. Она, видно, как подошла к раковине с противнем из-под пирога, так и остановилась. Я тоже остановился.

— Кто-то приехал?—как бы спохватившись, спросила она.

— Кажется, да,—сказал я.

Мы оба смолкли. Она, не оставляя противня, полуобернулась на меня. В глазах было что-то сильное, будто ищущее ответа на какой-то вопрос. Я вспомнил её перемену, когда сказал, что Ира—моя жена, и подумал: «Вот это!—и подумал:—А почему?»—и сказал:—Пустое!» Я выдержал её взгляд. Она улыбулась одними губами, вежливо и быстро. Мы остались стоять соляными столбами, пока не открылась входная дверь.

— Вот, друг Юрочки приехал!—сказала жена Юры. — Слышали, слышали о вас!—сказал муж сестры при пожатии руки.

— Идите к столу, садитесь, знакомьтесь!—затолкала нас в комнату с накрытым столом жена Юры и позвала:—Данутка! Ты где? Ты чего не встречаешь гостей?

Я услышал, как Данута сказала «здравствуйте» и прошла в комнату, считавшуюся мастерской. — Ничего, не обращай внимания. Привыкнет!—сказала жена Юры.

— Как наша армия себя чувствует? — для завязки разговора спросил муж сестры.

— Да вот так, ловим свой член в штанах, как мышь в подполе! — вырвалось у меня.

— Да, — понимающе кивнул муж сестры. — Слышали, что в Чечено-Ингушетии творится. Вообще, чёрт те знает что в стране творится. По-моему, наш президент и гарант демократии просто от пьянства уже невменяемый стал. А вообще легче стало работать. Я заместитель начальника строительного управления по снабжению. Сейчас мы выводим часть управления в самостоятельное подразделение, делаем общество с ограниченной ответственностью. Жизнь заставляет. Я сына туда направил. Проблем невпроворот. Но вообще легче стало работать. Раньше было — надо тебе, например, оконные блоки. А лимита у тебя на них нет. И начинается. Ты звонишь на завод строительных деталей: Иосиф Павлович, выручай, дорогой, в долгу не останусь, может, что для дачи надо привезти, щёбёнки там или песку. Он в ответ — а курятинки у тебя нет, этак с полтонны? Ты — на птицефабрику: Марья Ивановна, выручай, надо полтонны! — Она: Где же я тебе возьму, когда всё по фондам расходуется, ну, разве что ты нам крышу сделаешь, крыша потекла! — Ты: Сделаю, Марья Ивановна, сегодня же пошлю рабочих с техникой и материалами! — потом ты забираешь полтонны куриного мяса, везёшь Иосифу Павловичу, у него забираешь оконные блоки, брак там не брак учётка не учтенка, забираешь и обеспечиваешь фронт работ! Это я ещё короткую цепочку нарисовал. А бывали цепочки в пять и шесть колен. А теперь намного легче стало. Теперь деньги есть — нет проблем. Теперь напрямую: деньги — товар, как у Маркса! Нет, теперь можно работать. И знаете, мышление другим становится.

Я слушал, даже делал заинтересованное лицо, вспоминал тут же рассказ милицейского майора и думал — что же с нами делается, что делается с той же упомянутой Чечено-Ингушетией. Сколько можно судить, республика всеми силами рвалась из состава России, и этому способствовал глава верховной власти в России товарищ Руслан Иманович. Хасбулатов и, странным образом, даже сам президент. Я не видел того документа, но друг мой и бывший комбриг Миша Масалкин ещё в прошлом году перед уходом из райского местечка мне как-то сказал: «Наш президент, ставший по совместительству министром обороны, со своим замом Пашей Грачёвым передали этому бандюгану, — он имел в виду главу Чечено-Ингушетии Дудаева, — половину всего оружия, находящегося там. Шапошников, то есть командующий Вооружёнными силами СНГ, издал распоряжение, а эти подмахнули! Жди, Володя, Дудьего дня! Сдаётся, не миновать нам с тобой Кавказской войны!» — а потом вышло, как оно и должно было выйти,

Дудаев бумажку с распоряжением получил и хапнул вообще всё, что смог хапнуть, и никого не спросил. И вот вопрос: для чего Дудаеву было нужно оружие и по какому такому высокому помыслу ему его дали? Ни главе Осетии, ни главе Дагестана, ни главе Кабарды его не дали, а Дудаеву дали. Дали, хотя уже в девяносто первом он отозвал из рядов Красной армии, то есть из рядов Вооружённых сил СССР, всех военнослужащих чеченской национальности и запретил туда призыв вообще.

Вопрос есть. А ответ?

Я это думал, слушал своего собеседника, вспоминал рассказ милицейского майора и вслушивался в тишину соседней комнаты. Я запоздало жалел, что на кухне не подошёл к Дануте. Трус я был ещё тот.

Потом приехали её родители, отец, авиатехник аэропорта, и мать, бухгалтер.

— Да, покойный Юрий Сергеевич много о вас говорил! — тоже сказал отец Дануты.

— Да что много-то! — едва не весело возразила жена Юры. — Разве Юрочка мог много говорить! — и повернулась ко мне. — Соберёмся вот так на праздник вчетвером. Мы со сватъей уйдём на кухню. А они с Юрочкой сидят за столом и молчат. Мы со сватъей выглядяем из кухни — они сидят молчат. — Ну, молчанье молчанью рознь! — как бы извиняясь, а на самом деле скрывая неловкость от весёлости жены Юры, сказал отец Дануты.

В прихожую вышел и муж сестры.

— Здорово, родственник! — сказал он.

— Здравствуйте, — ответил отец Дануты.

— Ну вот. Серёга с женой просили не ждать. Они приедут к вечеру. Так что будем начинать? — сказала жена Юры.

— Что их, молодёжь, ждать! — вроде бы с пренебрежением, но с явной гордостью за сына сказал муж сестры.

— Ну, тогда так! — стала командовать жена Юры. — Тогда вы, сваты, садитесь сюда! Вы, дорогая сестрица, напротив. Ты, Володечка, вот сюда, рядом со мной. А вот тут, рядом с тобой, сядет Данка. Я настоящая вдова. А она нынче соломенная вдовушка. Так что поутешаешь нас, вдов!

— Сплюньте, сватъя! — сказала мать Дануты.

Жена Юры отмахнулась. А Данута вышла к столу с улыбкой. Все при этом как-то напряглись — все, исключая, конечно, жену Юры.

— Ну, Данута, как ты похорошела, прямо расцвела. Я ещё в прихожей заметила. Да ты быстро ушла! — сказала сестра жены Юры.

— Спасибо! — сказала Данута, расцеловалась с родителями и подошла ко мне. — Ну вот, товарищ подполковник! Сержант медицинской службы Катаева прибыла к месту назначения! Разрешите занять отведённое для дальнейшего прохождения службы место? — сказала она.

— По тому, как она ухаживала за Юрочкой, ей надо офицерское звание давать! — сказала жена Юры.

Её сестра поджала губы, а её муж на миг несколько потупился.

— Не в художественное стремилась бы, а сразу в медицинский пошла — так была бы уже офицером! — вроде бы с осуждением, а на самом деле с плохо скрываемой любовью сказал отец Дануты. — Да её все хвалят, нашу умницу и красавицу! — сказала жена Юры.

Мать Дануты вспыхнула и опустила голову.

— Ну, товарищи, я — на правах старшего! — поднялась с рюмочки муж сестры.

Мы уходили от духов до рассвета. Рассвело — и стало видно, что мы практически идём по гребню. Справа и слева от нас было по ущелью. Мы огляделись и, сколько ещё было у нас сил на что-либо реагировать, ахнули. В одном ущелье наша десантура ползла вверх, а в другом ущелье духи кагилась вниз. И не трудно было сосчитать время, когда духи запечатают наших, будто бутылку пробкой. Кстати, запечатают вместе с нами. Юра вышел на волну начразведки. А оттуда: «Это не ваше дело, вам приказ выйти к полку зелёных!» — так мы называли местную милицию царандой. Юра не выдержал: «Разрешите нам выйти к базе, на Руху!» — до неё было рукой подать, а к зелёным — это значило в бутылку. «Чёрт с вами, мать, мать, мать!» — разрешил начразведки. «Бегом, пока не закрыли!» — скомандовал Юра. А ведь на нас было боезапаса и всего прочего по тридцать кило. Но ничего, пустились бегом — жить ведь очень хорошо. Жить все любят. И если бы не бегом — не вышли бы. Только мы выкатились, упали передохнуть, воздуху похватать, шары в глазницы вправить — там, за спиной, началось. И тяжёлые орудия, и миномёты, и гранатомёты, и дэшэка — да всё враз. Юра подключился к частоте десантуры, потом снял наушники: «Понесут обратно двухсотых!» — и характерно, после контузии, хмыкнул: — Если ещё сами выйдут, ёлки!»

Притащились мы в Руху, в часть. Задачу хоть на один процент, а выполнили. Всё-таки наговского инструктора мы прихватили. А вообще, отвлекаясь от этого нашего налёта, — может, я много стал умничать, но всё же скажу: мы в Афгане задач, которые должен был решать армейский спецназ, практически не решали. Мы были не спецназом, а хорошо обученной пехотой. Ну, так вот. Инструктора мы прихватили. Его сразу отправили в Москву. Нас в награду обложили благодушным матом и даже дали время оклематься. А как оклематься? Мы столько времени ничего не ели, что пищеводы у нас ссохлись. Ничего в нас не полезло. Мы уж пытались пальцами проталкивать в горло — а оно всё обратно. Даже вода — обратно. Через день прикатила из Кабула какая-то московская исследовательская группа исследовать нас на предмет

реакции нашего организма после нахождения в экстремальных условиях. И пошло-поехало: тут метод, там обмер, тут взвешивание, там тест, всякие там «а» подчёркивай, «б» зачёркивай, числовые ряды и прочее. И всё для того, чтобы проверить, не лишились ли мы умственных способностей. Я в эти ряды смотрю, всякие «а» по задаче не подчёркиваю, а, наоборот, зачёркиваю, иначе у меня концы с концами не сходятся, числовые ряды расставляю по-своему да ещё поматериваюсь, что они составлены с ошибками. Мне говорят, нет не так! Я говорю, а по-вашему не выходит! Они говорят, думать надо! Я говорю, а нечего думать, и без того видно! Они злятся. Я тоже. Я Юре говорю, а пошли их в баню, что они к нам пристали, исследователи херовы! — А потом они выдают результат командованию. Я, оказывается, некая творческая личность с характером, имеющим склонность брать на себя ответственность и принимать нестандартные решения. А чего тогда на меня злились? И мне засветило повышение по должности с характеристикой этой самой личности и припиской «Обратить внимание». Обратил внимание Вовка Патрикеев. Ладно — если бы я ему дорогу перебежал. Ничуть не было. Он пристроился при замначразведки, и до него мне было далеко. Но из любви к искусству он шепнул где следует: «А у Лома-то, то есть у лейтенанта Ломакова, вот здесь в графе, вот посмотрите, „беспартийный“ написано!» — И без него все видели, что там написано. И многим, кажется, вплоть до замполита отряда до этого было как звезде до дверцы. Но Вовка шепнул — и всем стало до этой графы дело. Потому что свои кальсоны ближе к заднице и меньше пахнут. Так и светило мне то самое повышение в должности весь Афган дальним светом. Даже командиром роты не утверждали — и я и командовал ротой без утверждения. Приходили по замене молодые и необстрелянные. Они сразу получали роту. А я, год провоевавший да с характеристикой «Обратить внимание», оставался неутверждённым.

Вот такая же исследовательская и с «обращением внимания» ситуация сложилась за столом. Прошу прощения за слог, но как творческая личность себе позволю, витала за столом непреходящая настороженность. Все ловили в словах другого — вернее, не так, вернее, родители Дануты ловили в словах несостоявшихся своих сватов, сестры жены Юры и её мужа, подвох и всё такое, а те, в свою очередь, искали в их словах язву и всё такое. Жена Юры то ли по глупости, то ли по бесшабашности характера умудрялась в эту настороженность прибавить свою долю. Данута упорно молчала. Я не лез к ней с приличествующим за столом ухаживанием: вам салатик? вам рыбки? а у вас рюмочка пустая! — Я молча брал, что мне вздумается да подкладывал ей в тарелку.

Она терпела. И в разговоре я особо не участвовал. Букой не сидел. Но и воспитанного гостя, умеющего поддержать любой разговор, не показывал. Всё-таки брало меня потихоньку, что Юры нет.

Через час первой засобиралась мать Дануты, сказав, что ей пора на работу. Конечно, за ней встал отец Дануты.

— Вы к нам на сколько? — спросил он меня и предложил: — Что вам поездом! Давайте, завтра я вас бортом отправлю! — и Дануте: — Сможешь завтра проводить? Борт в одиннадцать Москвы!

Данута кивнула, а после родителей сразу пошла в мастерскую.

— Отдохну, голова разболелась! — сказала она.

Через несколько минут ушли и сестра жены Юры с мужем. Следом стала собираться и сама жена Юры.

— Я по делам и надолго. Ты ложись вот здесь на диване, отдохни. Скоро придет племянник со своей кралей. Они всё со стола уберут и будут ужин готовить. Ты их не стесняйся. Будь как дома — сказала она.

— Оставляешь наедине с красивой женщиной! — глупо сказал я.

— Данутка не такая. Да и ты своей Ирочке не изменишь! — сказала она.

11.

Ни на какой диван, конечно, я не лёг, а пошёл болтаться по городу. Заслышав меня, в прихожую вышла Данута, спросила, куда я. Возможно, так выразительно на её лицо упал свет, но мне показалось, вышла она в тревоге.

— Вы не уезжаете? — спросила она.

— Нет! — вдруг дрогнул я голосом.

Она посмотрела на меня. И я опять отметил, то есть не опять отметил, а я снова удивился её сходству с дочерью Марины Цветаевой, по крайней мере, с её фотографией.

— Хорошо. Дверь захлопывается сама! — сказала Данута и ушла в мастерскую.

«И всё? — молча спросил я, кажется, даже с обидой. И я же ответил: — А ты чего хотел? — и с ещё большей обидой, прямо ремнём схватившей грудь, сказал: — Лучше бы не выходила! — и кто-то во мне резонно сказал: — Она же чужая! — имелось в виду, чужая жена. И на это я огрызнулся: — Тебе-то какое дело!» Меня потянуло к двери мастерской. Меня потянуло постучать и просто ещё раз увидеть Дануту — просто увидеть. Но я повернулся к входной двери, стал шарить ручку.

— Вы ещё не ушли? — вдруг спросила Данута через дверь мастерской.

— Нет! — сухим горлом сказал я.

— А хотите работы Алексея посмотреть? — спросила она.

Я остановился. Сердце заметалось, и я не смог ни шевельнуться, ни ответить.

— Вы не ушли? — снова спросила она, пождав.

Я ничего не мог сказать. Я как-то напыжился, надулся, вроде петуха перед кукареканьем. Горло у меня совсем перехватило. Вышло — то, что петуху хорошо, мне смерть. Данута в порыве распахнула дверь мастерской.

— Вы не ушли? — выдохнула она.

Я из стороны в сторону подрожал головой — называется, изобразил отрицательный ответ.

— Уходите же! — снова выдохнула она.

— Куда? — спросил я.

Она ударила меня взглядом и вдруг прямо в дверях мастерской присела спиной к косяку и обвила руками колени.

— Господи! — заплакала она.

Я остался стоять. Я при этом, как говорили мои детки про спущенный воздушный шарик, сдулся. Со стороны, наверно, я смотрелся дурак дураком. Да оно так и было. Я стоял, совершенно сдутый внутри, совершенно пустой. Я стоял и смотрел, как, обвив колени, плакала Данута. Я знал только одно — всё-таки обученный же чувствовать! — я знал, что она плачет из-за меня. Но я не знал, что мне делать. Она была чужой женой.

— Добились? — вдруг перестала она плакать.

— А? — спросил я. А как бы я ещё мог спросить, будучи дурак дураком.

— Хорошо. Идите! — сказала она.

— Куда? — опять спросил я.

— Вы же куда-то пошли! — сказала она.

— Я? Пошёл? — удивился я.

— Владимир Алексеевич! Как же вы, такой тугодум, дослужились до подполковника каких-то своих сверхъестественных войск! — сказала она.

— Ещё не такие дослуживаются! — буркнул я.

— Ну да. Теперь я понимаю, почему такое творится с армией! — сказала она.

Мне за армию стало обидно.

— Много вы знаете, что с ней творится! — сказал я.

Она обиду почувствовала, посмотрела на меня. Свет опять упал на неё как-то так, что я увидел в её глазах тревогу. Мне стало стыдно. Рассказывают, будто в своё время командир девятой курсантской рязанского училища роты легендарный Фомич любил приговаривать: «Если в колхозном саду яблоки воровал и не попался — будешь спецназовцем!» Я же каждые каникулы работал в совхозном саду и однажды, ещё в свои тринадцать лет, гнал из сада более десятка, так сказать, будущих спецназовцев, моих сверстников, гнал по полю километра два, пока не нагнал. Что бы, интересно, сказал об этом Фомич. Так что лазать по чужим садам — это не доблесть. Доблесть в том, чтобы устоять, не впасть в придурачное и коматозное состояние перед женщиной, которая... которая, как бы это сказать, ну, одним словом, вам далеко не безразлична. Хорошо прочитала начальник строевой части Настя: «Как же просто всё — до

предела. Век бы ехать так и молчать». У женщин, выходит, в этом отношении всё проще. Они-то, выходит, и есть настоящие спецназовцы. А мы — так, мы — чмо, части материального обеспечения.

Данута, не вставая, снова посмотрела на меня. Тени делали её глаза большими и тревожными. — А вы свою жену очень любите? — спросила она. — Какую жену? — сразу не понял я вопроса.

— Свою, — сказала она.

Я шагнул к ней и присел рядом, спиной к косяку, но от неё отвернувшись.

— У меня нет жены. Дети есть. А жены нет! — сказала я и понял, что ничего не сказал. — Я не живу с ней! — прибавил я и снова понял, что опять ничего не сказал.

Я смолк. Плечом я касался её плеча. Её плечо подрагивало. Я не отстранялся. Мы помолчали.

— Почему? — спросила она.

— Я ушёл от неё, — сказал я.

— Почему? — спросила она.

— После тбилисских событий мне пришлось её с детьми отправить к её родителям. А они ей достали путёвку на курорт, сказали, что после всего ей надо отдохнуть. Там она... — я не успел досказать. — Я понял, — перебила Данута. — Я поняла. Но это... это ничего не значит. Вы мужчина и, надеюсь, сильный мужчина. Вы должны простить её!

Я посмотрел в потолок. Так же говорила жена. Она говорила: «Ты мужчина. Ты сильный мужчина. А я женщина. Я слабая женщина. Я ничего с собой не могу поделать. А ты можешь. Ты можешь меня простить!» — и это она говорила после того, как хотела разделить детей. Я же думал только одно — почему мужчина должен прощать, почему сильный должен прощать слабого, почему слабый может себе позволить поступать подло, а сильный должен его прощать? Кто простит сильного? — так я стал думать.

— Данута, я прошу тебя, — некоторое время я не смог подыскать нужного слова, она ждала. — Данута, — наконец нашёл я, как сказать. — Я прошу тебя, не касайся всего этого. Это дело только наше с ней, моё и её!

— Но я люблю вас! — вскричала она, повернулась ко мне и сильно взяла за руку. — Я вас полюбила ещё со слов Юрия Сергеевича! А сегодня увидела... Я поняла, что всё правда, я люблю вас!

— Данута! — смог сказать я.

12.

Наверно, странно, но мы не стали целоваться. Мы сколько-то, не сказать точно, сколько, посидели возле косяка, отвернувшись друг от друга и разговаривая только сжатыми воедино ладонями. «Как же ты теперь будешь с женой?» — спрашивала Данута. Это же, как она теперь будет с мужем, спрашивал я. И вместе мы друг друга спрашивали, как мы теперь будем вместе. Ещё я думал,

что никакой я не обученный, что никакой это не налёт. Она любила меня, и сила её чувства всё сделала сама. Не почувствовать это надо было ещё суметь! Я думал, что же именно мог сказать обо мне Юра, если только с его слов оказалось возможным родиться чувству.

— Зачем же ты пошла замуж? — с горечью спросил я.

— Но тогда бы мы не встретились, — помолчав, сказала она.

— А когда была у вас свадьба? — помолчав, спросил я.

— В этот Новый год, — снова помолчав, сказала она и, будто оправдываясь, сказала о муже: — Он очень талантливый.

— В Новый год! — фыркнул я и вспомнил свой нынешний Новый год.

— В Новый год. И если бы мы этого не сделали, мы с вами сейчас бы не встретились! — повторила она. — И ещё, — сказала она. — И ещё. Знаете, была раньше такая теория, что цвет можно выразить музыкой или, наоборот, музыку — цветом.

— Знаю, Скрябин, Чюрленис... — сказал я.

— Да, — сказала она. — Да, они. И я ещё в юности, ещё в художественной школе, об этом узнала и очень увлеклась. Я всё забросила. Увлеклась только этим. Меня кое-как из школы с тройками выпихнули. Я увлеклась этим и даже стала думать, как цветом выразить буквы — не звучание их, а именно сами буквы, написанные и без чтения немые. Тогда ещё у нас не была издана книга Кандинского «О духовном в искусстве». Она появилась у нас только в прошлом году. И я думала, что я первооткрыватель. Знаете, как у Делакура: «Природа является для художника лишь словарём». Это меня натолкнуло. Я стала искать соответствие цвета букве. У меня, конечно, ничего не получилось. На это жизнь надо положить. А я — так, пока в школе училась и пока была свободная от всех других забот. Теперь-то я знаю, это определённый «изм», тупик. «Художник своим свободным духом стоит выше природы и может трактовать её в соответствии со своими высшими целями». Это Гёте сказал. Не думайте, что я такая умная и начитанная. Это всё обрывки. Это многих сводит с ума. У многих от этого крыша едет. Вот и впадают в «изм», думая, что они вправе и в сила стоять выше природы. А сами обыкновенное ничто. Ведь всё это очень субъективно. А тогда я была очень увлечена. Может быть, оттого и в художественное училище не поступила, что всё пыталась найти соответствие цвета букве. А Алексей, знаете, без всяких «измов» — я ему рассказала, и он без всяких «измов» смог цветом, гаммой цветов, колоритом картины передать почти осязаемое, например, чувство боли, чувство тревоги или чувство умиротворения и так далее. Какой-то магнетизм есть в его работах, в обыкновенных, казалось бы, этюдах, портретах,

жанровых композициях... Но я боюсь, что он тоже стал думать о себе, будто он может быть выше природы. Вам это интересно?

Потому что это было связано с её мужем, мне не было интересно. Я чувствовал, что ей это тоже не было интересно—говорить о муже. Но её вопрос, как я теперь буду с женой, и мой вопрос, как она теперь будет с мужем, и наш общий вопрос, как нам теперь быть вместе,—не получали ответа. От её слов на меня нашла ревность. «Я опоздал всего на девять месяцев! Они поженились всего девять месяцев назад. Мне надо было успеть. Мне надо было приехать на Новый год к Юре!»—стал думать я и не отражал, что мы бы не встретились, если бы она не вышла замуж, не стала жить в квартире Юры и Юра бы ей ничего не говорил обо мне. Я не отражал, что её муж—это сын Юры, до сегодняшнего дня мне симпатичный человек, успехам которого, когда мне о них писал или говорил в телефон Юра, я искренне радовался.

— Ну вот, например, как я определяла цвет каждой букве,—не получив от меня ответа, продолжила Данута.

Она говорила, что как-то там этак определяла цвет буквам и эти буквы составляли страшно цветные слова, иногда очень интересные по колориту, но совершенно непригодные для обратного воспроизведения, то есть по самой картинке нельзя было догадаться об её названии. Ещё она говорила, что у мужа всё выходило иначе. У мужа работы почти осязаемо передавали и боль, и горечь, и тревогу. Она это говорила. А ладонь её в тревоге спрашивала: «Как мы теперь будем?»—«Данута! Данута!»—только и отвечала моя ладонь.

13.

Кода семьи были отправлены, из оставшихся в бригаде офицеров мы сформировали две группы, как некогда формировались офицерские роты с офицерами в рядовых. Каждый получил новую должность. Кто-то стал пулемётчиком, кто-то разведчиком, кто-то снайпером или водителем бэтэра и так далее в соответствии со штатной структурой группы специального назначения. Одна группа ходила в караул, другая занималась отправкой вооружения и материальной части на железнодорожную станцию. Потом менялись. Ни столовая, ни баня, ни котельная уже не работали. Готовили мы на буржуйке, которая отапливала караульное помещение. Так дожили до первого снега, выпавшего в декабре. Отправили первый эшелон, стали готовить второй, с которым, в последний раз взглянув на райский уголок, отправились сами. Под людей вагоны были поданы такие, что сразу стало понятно—их искали по всей Закавказской железной дороге, не нашли и стащили с Арарата Ноев ковчег. Двери вагонов были сорваны, а которые не сорваны, так держались на одном шурупе,

полки—так же, окна частью разбиты вообще, частью закрыты фанерой или осколками стекла. Туалеты никакому ремонту не подлежали, как и печка с титаном для кипятка. Пока шли до Баку, ещё терпели, всё-таки с погодой было помягче. А когда, так сказать, вышли на оперативный простор, на российскую равнину, Родина в очередной раз испытала спецназ на прочность. За окном минус пятнадцать. И у нас минус пятнадцать. За окном снег метёт. И у нас метёт. За окном реки льдом покрыты. И у нас пол в вагоне льдом покрыт. За окном ветер свищет. И у нас в вагоне свищет. И военный эшелон идёт как! Это там когда-то, говорят, при Сталине, они шли литерными, то есть безостановочно. А при нынешних правителях и министрах мы полчаса двигались, а потом полсоток стояли. Загоняли нас в какой-нибудь тупик, и мы стояли, стояли, стояли, и никто не знал, когда тронемся дальше. В Баку мы простояли неделю. Тут просто-напросто жаждали нас завернуть к себе. Вопрос, как можно было догадаться из всяких намёков со стороны местных властей, решался на государственном уровне. А с кем его было решать. У нас хоть какая-то, но власть была. А у них было возвращение к ханскому правлению. Раньше же не было такого государства Азербайджан. Раньше были отдельные ханства Бакинское, Кубинское, Гянджинское, Шемахинское и так далее. К ним и вернулись. И каждый новоявленный хан себе армию набирал. Каждый в верховную власть рвался. И с кем конкретно было нашему правителю разговаривать? Неделю искали такого. Нашли не нашли, но кто-то, слава Богу, дал отмашку. Покатили мы дальше. Стали нас блокировать в Гудермесе. Я уже говорил, товарищ Шапошников дал распоряжение об оставлении в Чечено-Ингушетии половины находящегося там вооружения. Но Чечня прихватила всё, что там было. И нас решила прихватить. Первый эшелон прорвался с боем. Всё-таки мы обучены бить сразу. К нам уже подкатили сторожку, но заблокировали пути. Пришлось предупредить о небольшой зачистке города из миномётов и орудий. Наглость была с нашей стороны. Какие у спецназа орудия. Автоматические да ручные гранатомёты—самое большее по мощности, чем мы располагали. Но, видимо, не были готовы воевать джигиты. Через двадцать минут гостеприимный Гудермес был позади.

Новый нынешний год мы встречали в приволжской степи. Половина личного состава уже лежала в лёжку. Мы полвагона отделили одеялами, как могли утеплили. Да только что утеплять, если лёд на полу достигал сидений. Медикаменты кончились. Лечили чачей. Её, будто предвидя, набрали с запасом. Утром проснёшься, снег с себя стряхнёшь, полкружки примешь, разомнёшься—и в службу. Больным—то же самое, полкружки в качестве лекарства. Ни одна станция ничего не давала. Ни у

кого ничего якобы не было. Все нас гнали как про-
кажённых. И Новый год мы встретили на каком-то
полустанке в Приволжской степи. Это был мой
второй Новый год в полевых условиях. Первый
такой Новый год я встречал в Афгане. Было это
по высокой заботе о нас высокой кокарды. По её
мнению, мы должны были в Новый год впасть в
безудержное пьянство и подставиться духам. Что-
бы этого не допустить, кокарда приказала всех нас
выбросить в горы на засады. А и гордому ослу было
понятно, отчего он стоял в стойле, а не семенял
куда-то под тяжестью какой-нибудь миномётной
станины. Всё вокруг напрочь завалило снегом.
Ночью минус двадцать, днём ноль, а то и плюс.
Снег слежался слоями в наст. Ходить по этим слоям
просто не было никакой возможности. Вот так мы
в снегах Гиндукуша в окрестностях сказочного
города Газни клацали зубами всю новогоднюю
на тысяча девятьсот семьдесят пятый год ночь.
Разумеется, кокарда нас поздравила и пожелала
успехов в боевой и политической подготовке. Мы
достойно ответили, сказав, что лучше бы такого
праздника в календаре не было вообще. В ответ
на наш ответ нас наградили сочным здоровым и
вполне уместным к праздничному поздравлению
посланием из конструкций особого лексикона
русского языка, то есть матом.

И, говорят, как встретишь Новый год, так его
и проведёшь. У нас семьдесят пятый в этом от-
ношении оказался точно по примете. Начинались
самые активные бои. В марте тяжело ранило Олега
Кильчевского. Юру взяли в сформированный
Шахджойский отряд. Мой взводный Серёга Грибов
заменялся. Остальные тоже — кто куда. Я в своей
роте остался практически единственным из стар-
риков. Потом пришли из Союза Миша Алексеев,
Волода Максимов, Валера Капустин. Вторая же
рота до августа вообще была без командиров.
В ней остался только один Костя Рубан. Потом
пришли Карен Таривердиев, сын композитора,
Паша Бекоев. Он пришёл на мою третью роту.
А я пошёл на повышение. Я пошёл на оператив-
ного дежурного. Но молодых же одних на бое-
вые не отправишь. И нам, оставшимся старикам,
приходилось — через день на ремень. Отдежурил
оперативным, пошёл с группой, вернулся, заступил
на дежурство, отдежурил, пошёл с группой.
Бывало — утром вернулся, вечером опять ушёл да
куда-нибудь в другой район, который рассмотреть
толком не успел, не только изучить. Какая тут ре-
зультативность. Да ещё совсем другая беда. У нас
была своя специфика работы. Мы стояли в Газни.
А вокруг него была на шестьдесят километров
сплошная кишлячная зона. Такое было в Афгане
редкость. И в кишлячной зоне какая засада, какой
налёт. Там ты только ещё пукнуть собрался, а уже
все в кишляках об этом знали. Серёга Аксаков, он
командовал мотострелковым батальоном в Айбаке.

У него тоже под задницей была такая зона. Меньше
нашей гораздо, но тоже кишлячная. Он соорудил
водонапорный бак и поставил на него пулемёт.
Как только кто-нибудь в его сторону стрелял,
он тут же, как из брандспойта, поливал кишляк.
Говорит, было эффективно. Но у нас шестьдесят
километров не прострелишь. И приходили к нам
ребята из других отрядов. Опыта работать в такой
обстановке у них не было. Но ребята этого не
учитывали. Отсюда были неоправданные потери.
В марте семьдесят шестого погиб Паша Бекоев.
Его посмертно представили к Герою. На мою
третью роту пришёл Егор Муковоз. Он попал в
засаду. Из сорока человек роты у него половина
оказалась ранеными. Сам он получил ранение в
живот и бедро. Мы вывозили их очень тяжело.
Борты не успели по духам поработать. Да ведь для
этого нужен был опытный авианаводчик. А это в
Афгане было проблемой из проблем. Если бы меня
спросили, кого надо готовить для современной
войны, я бы ответил: прежде всего авианаводчи-
ков. Борты не успели поработать. И нашу броню
духи встречали уже на подходе. А это же мои
люди, моя третья рота. Я со своего оперативного
дежурства — туда на помощь. Потом в медсанча-
сти нашёл Егора. У него большая потеря крови.
И лежал он в коридоре. Я — к хирургу: «Игорь!
Муковоз умирает!» — Тот его на стол. Оказалась,
ему нужна кровь третьей группы, прямое перели-
вание. У меня как раз была третья. То есть не была,
а у меня третья группа крови. Меня с Егором — ря-
дом на стол. А какая там кровь. Каждый день на
ремень ходили. Я до того наболтался, что весил
всего пятьдесят килограммов. Кое-как надоили с
меня двести граммов. Потом дал замполит отряда.
У него тоже оказалась третья группа. Потом на-
шёл рядовой солдатик. Беда ещё заключалась в
том, чтобы не болел раньше гепатитом и прочим
там подобным. А где же таких взять. Санчасть
была в полку. Отряд — это батальон. Наш отряд
имел номер сто семьдесят семь, а батальон имел
второй номер — Второй отдельный Газнийский
мотострелковый батальон. Из моей потом родной
Двенадцатой бригады отряд стоял в Кандагаре и
имел номер сто семьдесят три или одновременно
назывался Третьим Кандагарским батальоном.
Про него ходила легенда, что там ребята захватили
караван с пятьюдесятью шестью тысячами банок
пива! Потом Кандагарский батальон перевели в
состав Двадцать второй бригады, спросить об
этом, правда ли, пока не удалось. Санчасть была
в полку. Мне было идти до отрядного городка
километра полтора. И без этих двухсот граммов
крови я по дороге потерял сознание и бухнулся
в овраг. Оклемався только утром — ребята подо-
брали и принесли.

Вот такая у нас была работа. И вот так мы ехали
и встречали нынешний девяносто третий Новый

год. Третьего января в четыре ночи мы притащились в Саратов. Коменданта нет. Начальству станции мы не нужны. Руководству города — тем более. Будто мы — не Красная армия, а цыганский табор. Кто ответил на телефонный звонок, так это ноль три, скорая помощь. Приехала к нам машина. Вышли из неё старушка времён Великой Отечественной — именно тех времен, она в войну работала в санитарном поезде, — и девушка.

— Сыночки! — схватилась за сердце старушка. — Что же с вами делают! Ведь даже в войну такого не было! В войну за такое отношение бы — под трибунал! — вытряхнула нам тут же всю свою сумку, погнала девушку в машину отсюда принести всё, что было. Давай они нашим болезным уколы ставить.

Это было первое и единственное участие в нашем положении. Мы как-то даже забыли за нашу дорогу, что к нам можно было относиться по-доброму.

— Да растакая-прерастакая мать! — заорал я после отъезда скорой помощи и поставил караул с двумя пулемётами на входную стрелку и караул с двумя пулемётами на выходную со всеми положенными Уставом караульной службы действиями, то есть первый выстрел предупредительный, второй на поражение. Ответственность, конечно, взял на себя. И сам к дежурному по станции: — А ну тащи сюда начальника станции! И чтобы нормальные вагоны были через два часа!

Нашли вагоны. Не сто же штук нам было надо. Но на всём пути всем ответственным за это мордам лень было шевельнуться. Такая пошла власть. Так мы въехали в новую Россию. Из всей этой новой России мы оказались нужны только саратовской бригаде скорой помощи да потом руководству того городка, где бригада расположилась. Я думаю, мать родную или долгожданных друзей так не встречают, как нас встретили в этом городке. Всем сразу — благоустроенное жильё, пусть всего лишь по комнате на семью. Детей сразу — в школы и садики. Детей сразу — на обследование, сразу их лечить, так как четыре последние года они поликлиники вообще не видели. Ещё там, в райском уголке, узнав, куда нам следует передислоцироваться, молодёжь, кроме училищной казармы и этого райского уголка, ничего не видевшая, но уже в соответствии с духом времени научившаяся разевать клюв, завопила, будто что-то от них, дураков, могло зависеть. Я им говорил. Миша Масалкин, комбриг, им говорил. Кто там ещё им говорил. На что уж кавказский человек осетин Серёга Санакоев, но и он им говорил. Нет, завопили: «Мы не поедим в эту дыру!» — А куда они делись бы, как скажет Костя Кравец, с подводной лодки на глубине триста метров. Поехали как миленькие. И теперь готовы вопить, что отсюда никуда не поедут. Старый мудрый пень подполковник

Деев переводился в нашу бригаду из Армении. Так тот, только успели свернуть с Сибирского тракта в сторону нашего городка, только проехали мост над рекой Пышмой и въехали в мощный сосновый бор, предвстие тайги до самого Карского моря, вылез из машины, сел на пригорок и прослезился: «Господи! Неужели русский лес довелось увидеть!»

Потянула нас мать-мачеха Россия из всех братских объятий.

А в новогоднюю ночь в приволжской степи я должен был что-то сказать ребятам, поблагодарить за службу. Поглядел я на них, рваных, драных, больших и вшивых, и вспомнил ещё в школе вчитанную у кого-то фразу.

— Ребята! — сказал я. — Офицеры и бойцы русской армии! Великое преимущество аристократического воспитания заключается в том, что оно даёт силы с достоинством переносить нужду! Вы русские воины! Большей степени аристократа на Земле нет! Ура, ребята!

И в ответ они в небо пальнули из всех стволов, из всего, что у нас было. Отвели душу мои аристократы.

Мы так сидели около косяка, взявшись за руки, и досидели до приезда племянника с женой. Зазвякал ключ в замке — и мы вскочили. Данута затолкала меня в мастерскую, сама же осталась в прихожей.

— Ты одна? — услышал я племянника.

— С Владимиром Алексеевичем! — сказала Данута.

— А-а, — сказал племянник.

Я вышел из мастерской.

— И вы здесь! — картинно обрадовался мне племянник.

— Да, — сказал я.

— А мы приехали ужин готовить! — сказал племянник, а жена его тотчас прошла на кухню.

— Давайте вместе! — сказал я.

— Нет, что вы! Вы отдохайте! — сказал племянник и вскользь и как-то недобро, а может быть, с ревностью посмотрел на Дануту, потом снова вернулся взглядом ко мне. — А то, может быть, вы выпить хотите? Я прихватил хороший коньяк. Сейчас в магазинах ничего купить нельзя, сплошь подделки, или, как говорят, самопалы. А отец по старым связям достаёт хорошее. Хотите? Выпьём! — он полез в сумку.

— Давайте вечером! — сказал я.

— Да мы собрались прогуляться! — сказала Данута.

Племянник снова взглянул на неё как-то особенно — то ли недобро, то ли с ревностью. Когда мы с Данутой вышли, я не удержался спросить, видела ли Данута, как он на неё смотрел.

— Он променял меня на благополучие. Отец ему велел жениться на этой, на дочери его друга, подарил «Волгу». А её отец подарил им квартиру! — сказала Данута.

— И он согласился? — глупо спросил я.

— Он догадывается, что я не люблю Алёшу, и приписывает это себе, будто я всё ещё его люблю, — сказала Данута.

— А это не так? — спросил я.

— А почему вы никогда не измените своей Ирочке? — спросила она.

Глаза её плутовски замерцали. В том, что я не изменял жене, я вдруг почувствовал какую-то мужскую ущербность.

— Почему вы так решили? — с обидой спросил я.

— Свекровь сказала. А она в таких делах не ошибается. Я это уже оценила! — сказала Данута.

Я фыркнул и едва не сказал слово «Ёлки!».

К Юре в дом мы не вернулись. Ночь была превосходной. Всю её мы прогуляли по городу.

14.

За осень у нас получилось дважды встретиться в Екатеринбурге. Один раз в гостинице наткнулись на Вовку Патрикеева. Он был с солидной дамой, возможно, уже председателем городского суда.

— Молодец! — сказал Вовка.

Чтобы не поняла Данута, я послал его грузинским матом. Он заржал.

— Кто это? — спросила Данута.

— Одно дерьмо, — сказал я.

— Он же полковник! — удивилась Данута.

— И афганец. И надо было его подстрелить ещё там, — сказал я.

На Новый год я взял дежурство. Данута приехала в бригаду. У нас должна была быть целая ночь. Но через час после президентского поздравления

припороли и комбриг Володя, и зампотыл Валя Молчанов. А потом приехала абсолютной счастливая Настя с новой своей подружкой, сержантом Настей, пришедшей служить в строевую часть этой осенью и названной Настей малой. Они приехали с букетом пахучей пихты, которая вокруг городка и вокруг Екатеринбурга не растёт, и за ней надо было ехать, по крайней мере, до озера Таватуй. Ну может, поближе.

Увидев Дануту, все, конечно, всё поняли. Настя некоторое время крепилась, но потом ушла плакать. Я пошёл её как-то успокоить. Она расплакалась ещё больше и попросила, чтобы я отвёз её домой. — Ну что же вы, Настя! — пытался я её удержать. — Меньше надо кобелевать, товарищ подполковник! — сказала мне Настя малая.

— Вот ёлки! — сказал я.

А на капепе мы столкнулись нос к носу с Васей Барибаном.

— С Новым годом, замполит! С Новым годом, девчата! — закричал Вася Барибан.

— С новым борщом! — сказал я.

— Идея! Можно поехать ко мне! — закричал Вася Барибан.

Но никто никуда, кроме Насти и Насти, малой не уехали.

В новом девяносто четвёртом году Данута развелась с сыном Юры. Жена Юры в телефон сказала о ней много нехорошего. Я не смог её остановить. И я не смог уйти от детей. Я не смог поставить себя выше природы. С Данутой мы больше не виделись.

А на следующий Новый год уже была война.